МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

ОКАЯННЫЕ ДНИ



И. А. Бунин

Окаянные дни



Москва
2008

УДК 821.161.1
ББК 84(2)
Б91

Бунин, И. А.
Б91 Окаянные дни / И. А. Бунин – М. : Директ-Медиа, 2008. – 152 с.

ISBN 978-5-9989-2572-6

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – выдающийся русский классик; писатель, поэт, почётный академик Петербургской Академии наук (1909), лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года.

«Окаянные дни» – одна из самых яростных и непримиримых книг о событиях 17-го года. Никто не вправе требовать беспристрастности от Бунина: трещина, расколовшая мир, прошла и через его сердце. Революция, гражданская война... Рушится все, на чем держалась жизнь, что казалось незыблемым. Добро и Зло смешались, и уже не отличить правду от лжи, реальность от слухов и домыслов. Острее других весь ужас происходящего перелома чувствует писатель...

УДК 821.161.1
ББК 84(2)

ISBN 978-5-9989-2572-6

Москва, 1918 г.

1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, – кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

– Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет...

Бодро с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

* * *

Нынче опять такая же встреча, – Сперанский из «Русских Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

– Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января.

Был на заседании «Книгоиздательства писателей», – огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали!

О Брюсове: все левеет, «почти уже форменный большевик». Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,
Жадно ловит
Инбер клич его, –
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

6 февраля.

В газетах – о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее,

во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

– Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

– Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» – и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

– Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падает человек!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу – и оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из горьковской «Новой Жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти Народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий...» Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

– Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

– Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

– Если кто совершит кражу, или кто примет краденое, то лишить жизни.

– Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого...

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

– Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!

Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

– Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Рассея!

7 февраля.

Во «Власти Народа» передовая: «Настал грозный час – гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!» – Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском Слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и, по распоряжению местного революционного трибунала, препровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красногвардейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оребеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

– Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, – придут, придут, а вот чтой-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом

точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля – бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

– Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалеет, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

– Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

– Да Вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

– Мне нечего объяснять... Вы сами должны понять...

– Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

– Что случилось? А вот погодите, поймете...

Приехал Д. – бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо

по колено в крови». Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

9 февраля.

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу – и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

– Это для меня вовсе не камень, – поспешно говорит дама, – этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать...

– Мне нечего стараться, – перебивает баба нагло, – для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама.

– После этого я с вами и говорить не желаю.

– И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

– У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, – говорит старик.

– Да, не осталось.

– Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

– Ишь ты! А как *вы* триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, – почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных

слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь...

Жены всех этих с.с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

10 февраля.

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, – все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это... вот Я приведу на народ сей пагубу, *плод помыслов их»*.

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковского книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз...
Жара, страда... Куда летит
Через усадьбу шалый пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И как Мамай всю Русь пройдет...

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер – что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотом отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а «просто едут по железной дороге» – занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, ни более ни менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видел.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками – бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот, немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

– Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь!

Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

– Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальством, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками – цензура. Муралов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

– Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владал. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

15 февраля.

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов...

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля.

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, – о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

– Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

– Москва, брат, теперь ни... не стоит.

– Теперь и провинция ни... не стоит.

– Ну, вот немец придет, наведет порядок.

– Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.

– А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах...

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

– Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает, – может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов – «выработка протеста против большеви-

стской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

– Да вы только подумайте! И журналист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский – киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской – главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом, решено избрать на царство Самарина... С кем же в таком случае будет жаркий бой?

Ночью.

Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

– Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, – пора готовиться на юг, – и как раз нахожу кое-какие доказательства своего «деспотизма». Вот заметка 22 февраля 15 года:

– Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает, – медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку

боится, стесняется... Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 года в Васильевском:

– Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

– Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь, исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

– Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

– Барин, – отвечает Махоточка, деревянным с морозу голосом, – ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжав-

шись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стукалась Махоточка по ухабам.

17 февраля.

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

– Не представляю себе, – говорил А. А. Яблоновский, – не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца, – в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: мир подписан!

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия», и что оттуда твердый ответ: да, подписан.

Вот тебе и «не представляю».

18 февраля.

Утром собрание в «Книгоиздательстве Писателей». До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, – он уже какой-то комиссар, – ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

– Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

– Не беспокойтесь, – ответил он с мутной усмешкой, – порядочно...

По городу общий голос:

– Мир подписан только со стороны России, немцы отказались подписать...

Дурацкое самоутешение.

К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

19 февраля.

Коган рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест трефного, свято чтит субботу... Затем о Блоке: он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

– Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя «резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение:

– Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно по-дурному стреляющим!

– Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бобах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут.

– Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединить-

ся к нам и запретить стрельбу всем, имеющим конячую голову.

– Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: «Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!» Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

– Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

– Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

– Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая – в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

20 февраля.

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком, солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами – сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием – кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса... Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства – они...

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят «правительство»:

– Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось год валялись, пожуешь – вонь, душа горит!

Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой маньчжурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могикан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь; громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, взлезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребят, подцоби!» Но никто не трогается.

В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов... Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор – до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

Слухи: через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко; все лучшие гостиницы готовятся для немцев.

Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне.

21 февраля.

Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь.

Встретил Сперанского. Говорит, что, по сведениям «Русских Ведомостей», в Петербург едет немецкая комиссия – для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая полиция; в Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб; Ленин в Москве, сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении.

22 февраля.

Утром горестная работа: отбираем книги – что оставить, что продать (собираю деньги на отъезд).

Юлию из «Власти Народа» передавали «самые верные сведения»: Петербург объявлен вольным городом; градоначальником назначается Луначарский. (Градоначальник Луначарский!) Затем: завтра московские банки передаются немцам; немецкое наступление продолжается... Вообще черт ногу сломит!

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально-печален; карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых

очках, все трепал по заду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то «эмиссар».

Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна́ звезд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены были, дома были почти неприступны...

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое.

23 февраля.

Опять стали выходить «буржуазные газеты» – с большими пустыми местами.

Встретил К. «Немцы будут в Москве через несколько дней. Но страшно: говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников». Да, все то же. И все то же тревожное, нудное, не разрешающееся ожидание.

Всё говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской.

У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубахе, другой рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем:

– Ну, что ж скажете, господа, хорошенького?

– Да что скажешь. Все плохо.

– А что ж, по-вашему, дальше будет?

– А Бог знает, – сказал курчавый. – Мы народ темный. Что мы знаем? Я хучь читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не

выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налягнул. Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили.

– Там жиды все, – сказал черный.

– И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий – энтого давно убили, настоящего-то.

– А про мир с немцами что вы думаете?

– Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за три рубля, а я так пустой суп и хлебал...

24 февраля.

На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. – Везде грабеж!

Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж...

В доме напротив нас молебствие, принесли икону «Нечаянной Радости», поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.

Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками.

Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове, «формируют правительство».

Звонит на станцию «Власть Народа»: дайте 60-42. Соединяют. Но телефон, оказывается, занят – и «Власть Народа» неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем:

– У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

– Немедленно расстрелять.

Про анархистов: необыкновенно будто бы веселые и любезные люди; большевистский «Совет» их весьма боится; глава – Бармаш, вполне сумасшедший кавказец.

В Севастополе «атаман» матросов – некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих ограблениях и убийствах; «нежнейшей души человек».

Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет.

В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в «Совете рабочих депутатов».

25 февраля.

Юрка Саблин, – командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэкуоку, конфектно-хорошенький...

Слух: союзники – теперь уж союзники! – вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

– Вставай, подымайся, рабочай народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Cave furem». На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого клейма все видно.

И при чем тут Марсельеза, гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом!

26 февраля.

Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете «Вечерний Час», читает имена сотрудников. Прочитал и сказал:

– Все одна сволочь. Прославились!

Из редакции «Русских Ведомостей»: Троцкий – немецкий шпион, был сыщиком при нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в «Правде» Стучка, по злобе на Троцкого.

27 февраля.

Опять праздник, – годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надоедает.

Какая-то дикая и жуткая ерунда: у нас весь день сам собой звонит, не умолкая, телефон и из него сыплется огонь.

«Разбегаются! Карахан назначен послом в Константинополь, Каменев – в Берлин...»

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая – то интернационал, то «русский национальный подъем».

28 февраля.

Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят.

Вести со Сретенки – немецкие солдаты заняли Спасские казармы.

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат.

А телефон и нынче звонит – трещит, звенит и сыплет красные огненные искры!

1 марта.

Вечер у Ш.

Идя к нему, видели адвоката Т. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр, говорит, что большевики заняты сейчас одним: «награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец».

У Ш., кроме нас, Д. и Грузинский.

Грузинскому рассказывал в трамвае солдат:

«Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места – мест, говорят, нету, а вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек...»

Д. получил сведения из Ростова: корниловское движение слабо. Г. возражал: напротив, оно крепнет и растет. Д. прибавил: «Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия...» Ну, если не шестьсот, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать.

Говорят, что Москва будет во власти немцев семнадцатого марта. Градоначальником будет Будберг.

Повар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за тридцать лет тяжкого труда, стоя у плиты, среди девяностоградусной жары. «А Орлов-Давыдов, – прибавил он, – прислал своим мужикам телеграмму, – я сам ее читал: жгите, говорит, дом, режьте

скот, рубите леса, оставьте только одну березку, – на розги, – и елку, чтобы было на чем вас вешать».

Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение; следят будто за малейшим шагом большевиков, все отмечают, все записывают.

Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное.

В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах:

– Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, – пускай, мол, придет немец, черт с ним, – а теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!

Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь «серьезным», живо бы эта «стихийность великой русской революции» присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь – и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улицам было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу.

2 марта.

«Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, – большой гонорар, говорит, дадим.

«Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь – и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра...

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, претенциозное, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор несерьезен, изнуряет «наблюдательностью» и такой чрезмерной «народностью» языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чует, не понимает, – напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!»

«Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это [...]!

Читал о стоящих на дне моря трупах, – убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка».

3 марта.

Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята семнадцатого, но не верю и все собираюсь на юг.

Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем.

5 марта.

Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу – умные люди выбирают деньги. Вообще, многие тайком готовятся уезжать.

В вечерней газете – о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

– Слава Тебе Господи. Лучше черти, чем Ленин.

7 марта.

В городе говорят:

– Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

– Как думаешь, правда?

Вздыхает:

– Все может быть, все может быть.

– И ужели народ допустит?

– Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владали, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит: «Боже, как грустна моя Россия!»

И ни души кругом, только изредка солдаты и б-и.

8 марта.

К. П. про Спиридонову:

– Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала...

Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова.

Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения – нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то «правительственными» учреждениями, мебель новую, конторскую...

Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?

«Поношение сокрушило сердце мое...»

9 марта.

Нынче В. В. В. – он в длинных сапогах, в поддевке на меху, – все еще играет в «земгусара», – понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

– Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями... Революция в силу этого была неизбежна...

Я ответил:

– Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, *чего мы хотели*, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, – пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ – ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитовых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны, как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и

временное правительство, и учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

10 марта.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

– Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других...

Есть и у меня эта беда.

Грязная темная погода, иногда летает снег.

Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, – физически.

Вечером у Б. Рассказывал про Фриче, которого видел на днях. «Да, да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке, а теперь – персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами!» Играл на фисгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, – какие виньетки, заглавные буквы! И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение.

Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар! Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду.

11 марта.

Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в «Книгоиздательстве писателей», и Гонтарев рассказывал, как Ш. битый час ждал Малиновскую где-то у

подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием.

Грузинский сказал:

– Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица.

Понимаю его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще острее.

Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно голубеющему небу, около тротуаров блестит, бежит весенняя вода.

12 марта.

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

– Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений «Парусом») у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год *издать только книжечку Маяковского*? Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания – Горький, Тихонов, Гиммер-Суханов? «Борются», якобы, с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками «Национальной Гостинице», куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с

винтовками, после того, как получил пропуск от большевистского «коменданта» гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: «Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь».

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

– Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести и вдруг такой неожиданный успех!

13 марта.

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е. П. Был Бах (известный революционер, старый эмигрант), Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков: «Милосердный народ, прекрасный народ!» Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

– Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ – народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего...

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много, много рассказывал о большевистских главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену

европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся, как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в «Новую Жизнь», умоляли быть министрами, предлагали портфели...

15 марта.

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрыты «Русские Ведомости» – из-за статьи Савинкова.

Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

«Комиссар по делам печати» Подбельский закрыл и привлек к суду «Фонарь» – «за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику». Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом!

22 марта.

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

23 марта.

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор – и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

Старик букинист Волнухин, в полушубке, в очках. Милый, умница; грустный, внимательный взгляд.

Именины Н. Говорили, что все слова на «ны» требуют выпивки. Крепок еще «старый режим».

«Кабак» Премирова. Несомненно талант. Да что с того? Литературе конец. А в Художественном Театре опять «На Дне». Вовремя! И опять этот осточертевший Лука!

К. П. до сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор.

Меньшевистская газета «Вперед». Все одно и то же, все одно и то же!

Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами.

Рота красногвардейцев. Идут вразнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. «Инструктор» кричит: «Смирно, товарищи!»

Газетчик, бывший солдат:

– Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-Богу, барин, гляньте – вот один под ручку с своей шкурой!

Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском.

Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами.

Внутри всюду освещено – великолепные матовые люстры за гардинами.

24 марта.

Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на Дальнем Востоке; еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до тысячи рублей за пуд, что надо делать запасы... Говорим – и ничего не делаем: купим два фунта муки и успокоимся.

У Н. В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик (бывший писателя Загоскина) с черной крышей во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки.

В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. «Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет».

Серьезная сухая дама и девочка в очках. Торгуют на улице папиросами.

Купил книгу о большевиках, изданную «Задругой». Страшная галерея каторжников! У молодого Луначарского шея пол-аршина длины.

Одесса, 1919 г.

12 апреля (старого стиля).

Уже почти три недели со дня нашей погибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» – «Кажется, из редакции» – то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» – «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». – «Как, что такое, когда?» – «Сию минуту». – «Вы с ума сошли?» – «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» – Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом... А в редакции – телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция...»

Двенадцать лет тому назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

* * *

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти – умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от *10 августа пришло только сегодня*. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился «министр почт и телеграфов». Тогда же появился впервые и «министр труда» – и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади – за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, – толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» – Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, – непременно почему-то комиссаров, – и вообще всяческих властей стало не-

сметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу *грязных остатков издыхающей тирании...»* Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

* * *

Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем *и без того крохотном* существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит оно, это будущее?» – как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: «Это будет последний и решительный бой!» – Вечная сказка про красного бычка.

* * *

Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное – совсем нет *чувства* весны. Да и на что весна *теперь?*

Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот

придет и все разрешит, сплошное и неизменно-напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды?

«Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!»

13 апреля.

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию», полное благородного негодования. Еще глупей.

Слухи и слухи. Петербург взят финнами. Колчак взял Сызрань, Царицын... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

15 апреля.

Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человечек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в

Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения «кажный вечер за тысячу думскими». Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт, – по всему видно, что сыт, – и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, – «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев?

16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца». Воровски шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено –

никакого вмешательства во внутренние русские дела... Да, да, это называется «внутренними делами», когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

* * *

Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управление университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодяям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе Красноармейца» известие о «глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

* * *

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

* * *

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, по-

лицейского, помещика, зажиточного крестьянина, – словом вся и всех, за исключением какого-то «народа», – «безлошадного», конечно, – «молодежи» и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул – и навсегда – сгнивший трон Романовых...»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

* * *

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

* * *

«Революции не делаются в белых перчатках...» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

* * *

«Утешься ради скорби всего Иерусалима!»

До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной – ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное

ощущение теперь, что это *не жизнь*. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь – завтра, послезавтра, может, даже нынче ночью!

* * *

С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень.

Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. «Я как-то физически чувствую людей», записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда – глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге – все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзан», – словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная

купля ее душ и утроб, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрированно окал, на нижегородский лад): «Нонче, ребята, айдате на пьяццу: там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, – вся, понимаете, пьяцца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок... Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни...» И на зеленых глазках – слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет – не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские Новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» – Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» – Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она

«осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» – «Правильно, верно!» – «Пятьсот миллиардов контрибуции с России!» – «Мало, мало!»

* * *

«Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого – на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили...»

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая – 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс – кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь «народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик – и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже «о

падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания – и Единый, перед Коим можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, – там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

* * *

Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

– Нет, простите! Наш долг был и есть – довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, – мимо него быстро шли и спорили, – горестно покачал головой:

– До чего в самом деле довели, сукины дети!

* * *

– Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики...

Грузовик – каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощены в грузовике.

* * *

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от

времени до времени задает вопросы, – не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах.

* * *

«Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает...»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам – ничего особенного. «В ровенском направлении попытка противника...» Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же, – высокопарно-площадной жаргон, – все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? – тому самому пролетариату, которого так забавляли

позавчера. А на стенах воззвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и командующего черноморским флотом», Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь.

* * *

Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе...

Какая у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и *своей лжи, своего* искажения к заведомо лживому слуху. *И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется.* Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, – такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так

крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, – и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, – вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город – и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам, – нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь, – теперь-то я уж знаю ей цену!

* * *

Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом

слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, – и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...

«Ах, мщения, мщения!», – как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Уже ли Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе – наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними, – и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

– Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу?!

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

* * *

Как мы врали друг другу, что наши «чудо-богатыри» – лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

– Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, – и дубина, и икона», – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, – если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, – и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

– Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» – и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, врали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»)

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит – один Петербург подтягивал. Длительным будничным

трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

– Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, – карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», – сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, – сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье... Мы канонизировали человечество... канонизировали революцию... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

* * *

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко

сжаты, играет желваками челюстей... Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля.

«Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии, – в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!» Так неправдоподобно-глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, – с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?» Затем – «От победы к победе – новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе...»

В «Известиях», – ох, какое проклятое правописание! – после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статейка о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще много», и наконец гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев». – Счастливый день! И это после ультиматума-то!

Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)...

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, – «сбор» одежды и обуви.

* * *

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. *Как забыть, как это простить русскому народу?* А все простится, все забудется. Впрочем, и я – *только стараюсь* ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков – убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, – перешагни же меру. Это – как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт?!» А назначь тысячу – и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» – «Нет, милый, не семь, а семьсот!» – И уж тут непременно столбняк – семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

* * *

В три часа, – все время шел дождь, – выходили. Встретили Полевицкую с мужем. – «Ужасно ищу роль для себя в мистерии – так хотелось бы сыграть Богоматерь!» – О, Боже мой. Боже мой! Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно...

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

* * *

Сейчас (8 часов вечера, а по-«советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, – тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового», тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели – любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей – все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, – чувство легкости, молодости. И наряду с этим – какая тоска, какая боль!

* * *

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, – в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, – и на мгновение *сердцем* вспомнил то далекое, невозвратимое очарование,

что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке, – масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься, – так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств!

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, – идейно, – и убитого большевиками.) – Да, мы теперь лошади очень простого звания.

* * *

22 апреля.

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, – Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны – и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

– Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: – «Ну будет, будет, Бог с тобой» – спрашиваю: – «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

– Нет... Чужой... *Завидую*...

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

– Помните, господа: пгусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

* * *

Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длящемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

* * *

Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинить допрос с пристрастием... Или – или: третьего не дано... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо «я сел писать» – «я оседлал своего Пегаса», жандармы – «мундиры небесного цвета». Кстати, о Короленко. Летом 17 года какую громовую статью напечатал он в «Русских Ведомостях» в защиту Раковского!

* * *

По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, – очень часто с разряженными девками, – мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами

и большими, темными, кокаинистическими глазами... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,
Куда котишься!

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе – с самого того праздничного дня, когда в город вступила «революционно-народная армия», и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что

хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

* * *

«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции все прощается, – «все это только эксцессы».

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, – родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, – «эксцессов», конечно, быть не должно.

* * *

«Революция – стихия...»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

«Салтычиха, крепостники, зубры...» Какая вековая низость – шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы. Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герои? *Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.*

«Разложение белых...»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ.

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью.

– В моей молодости, – рассказывал он, – был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.

23 апреля.

Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам – и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно: «Колчаку Волги не видать!» Затем: образовалось «Временное Рабоче-Крестьянское Правительство» Бессарабии, Нансен просит «Совет Четырех» о хлебе для России, где «ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч». Абрашка-Гармонист (Регинин из «Биржевки») продолжает забавлять красноармейцев: «Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепуга на столчак», «в Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике», болгарский коммунист Касанов «объявил войну Франции», – так буквально и сказано! – в одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а «блокада продолжается, французы останавливают даже парусники...». Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар, смотреть на фран-

цузский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат: как бы не ушел, избавь Бог! Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что, в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами, миноносец может начать стрелять... что если он уйдет, уж всему конец, полный ужас, полная пустота мира...

Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара Немица, – «он видит и верит, что идет объединение и строительство России». Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего, «большевистского» нажима на воображение читателя.

* * *

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все – и литература особенно – выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов

петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершен-

но бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, – везти или не везти, – и не знал, какую назначить цену.

– В Европейскую, – сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

– Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал – и не узнал Петербурга.

* * *

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» – и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! – по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

– Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

– Так что же делать?

– Делать? – сказал он. – Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и всё старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только – временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гро-

бы почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромных прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто *умоляли* финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, – на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всё те же – весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал – поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским

художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза – так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

– Вы меня очень ненавидите? – весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и – тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим *излишеством* свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть

силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

– Много! Многоо! Многоо! Многоо!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге – приезд Ленина. «Добро пожаловать!» – сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал – в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь – и крепостные ворота, и соборные двери. И

всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

* * *

«Разочарования, – говорит Герцен, – мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

* * *

Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

– Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

– Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

– Что ж мало навоевал? – закричал за ним мужик. – Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, подняли общий негодующий крик.

Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля.

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда несдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

* * *

Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов...» и т.д.

Статья Троцкого «о необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели «проклятого прошлого» готовы на погибель хоть половины русского народа.

* * *

В Одессе народ очень ждал большевиков – «наши идут». Ждали и многие обыватели – надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну, да ничего, привыкнут. Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

– Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

– Кто, барин? Очки-то? Ничего, они *оглядятся*...

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

– Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал.

* * *

Дыбенко... Чехов однажды сказал мне:

– Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай (рассказывал вчера Н. Н.):

– Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы – «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку – и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: «Ну, давай, дружок, поболтаем теперь всласть!»

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток.

* * *

«Известий»:

«Крестьяне говорят: дайте нам коммуну, *лишь бы избавьте нас от кадетов*...»

У дверей «Политуправления» стоит огромный плакат. Краснокожая баба, с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

– *Не зарись*, Деникин, на чужую землю!

«Не зарись» должно обозначать «не зарься».

* * *

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

* * *

Подумать только: надо *еще объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антерисуется» стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен *доказывать*, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту *хряпу* ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать – над клозетной чашкой.

А у «председателя» этой чрезвычайки, у Северного, «кристальная душа», по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин, – всего несколько дней тому назад, – «*в гостиной одной хорошенькой женщины*».

* * *

Анюта говорит:

– Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного – толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой,

он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

– Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины... Прочел пролог к «Анатэме» – полная бессмыслица... Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие сякие! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «Прочитаю две страницы, – надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

– Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию – юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом – архитекторы, а вот художество всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится, – отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

* * *

Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, *всечеловеческого* проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего *литература поможет*, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а «вервие», как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык.

Вообще, *литературный подход* к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия – двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые

годы – и каждое десятилетие определили его *литературным* героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров... Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осьмнадцать» лет, другому девятнадцать, третьему самому старшему двадцать!

* * *

Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе. Горький, зеленея от волнения, говорил речь:

– Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и «предупреждение». «В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет». Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды – ничего!

Да, да – «вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее».

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, – и *откуда только могла она взять эту кость*? Вот дожили, – даже кости дивишься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать – так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! «Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» – «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное

дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние – и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства – и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину – и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. – Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и *воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого.* А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной – те, которую она видела в автомобиле на экране.

25 апреля.

Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты «на предмет уплотнения пролетариатом». Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать!

«Комиссар» нашего дома сделался «комиссаром» только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегает по всему дому, умоляя исполнять декреты, – умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, *сами всячески подчеркивают, афишируют*

свое зверство! А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? *Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови*, что, благодаря им, даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего *в обычное время*, от восторга захлебываются перед этим босяком, если он делает то же самое *во время, называемое* революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной несправедливости».

* * *

Когда дописывал предыдущие слова – стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил – опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, – вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе – бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, – и *как все странно, некстати теперь*!

День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!»

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, – и телесного, и духовного, – необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море – маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России.

Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то:

– А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, – он отца родного угробит!

Все так, но *есть несомненно и помешательство*. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что (как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще, студентов видишь нередко: спешит куда-

то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает – студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается – и с хохотом мочится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней – трон, от трона текут потоки крови. Подпись:

Мы кровью народной залитые троны
Кровью наших врагов обагрим!

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности, – нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное – распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок,

на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти «строители новой жизни» распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в «Известиях»: «Эстакаду растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топку и деревья – уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 г.» Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим,
Месть беспощадная всем супостатам,
Смерть паразитам трудящихся масс!

Есть «Рабочая Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн», «Красное знамя»... И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

– Мы пошлем всем злодеям проклятье,
На борьбу всех борцов позовем...
– Вихри враждебные веют над нами...
Но мы поднимем гордо и смело

Знамя борьбы за рабочее дело...
– Мы в плуги меч перекуем
И новой жизнью заживем...

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия»!

* * *

Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок и один говорит другому:

– А Петербург весь под стекленным потолком будет... Так что ни снег ни дождь, ни что...

* * *

Недавно встретил на улице проф. Щепкина, «комиссара народного просвещения». Движется медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и *толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской*.

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским «депутатам»:

– Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы депутатов:

– Сего не буде!

Фельдман яростно:

– Это почему?

– Жидив не хвате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных.

26 апреля.

Проснулся в шесть, от сердцебиения.

Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба – 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж.-д. упала на 50 процентов... Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства... Индия охвачена большевизмом...

«Известия» завели почтовый ящик:

– Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

– Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

– Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина – пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря... Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро, вполголоса:

«Тирасполь взят немцами и румынами, – теперь это уже факт. Взят и Петербург...»

В три часа вошла с испуганным лицом Анюта:

– Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянико-Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их...» О Господи! И это на старости лет!

Потом читал Ренана. «L'homme fut des milliers d'années un fou, après avoir été des milliers d'années un animal».

27 апреля.

«Известия»: «Контрреволюционеры сидят и думают великую думу, как бы запутать пролетариев коммунистов... узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы... комики, ей-Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное...»

В «Голосе Красноармейца» жирно:

«Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию... Румынские разбойники с своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу».

Резолюция из Вознесенска:

«Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!»

В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александра Второго». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы...

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»

* * *

Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Койранский.

– На Одессу идет Григорьев!

– Какой Григорьев?

– Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. «Бей жидов и коммунистов, за веру и отечество!» Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств. А я ему: а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром?

28 апреля.

Так и есть!

«Во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб третьей украинской советской армии объявляет, что атаман *Григорьев*, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству...»

Затем приказ Антонова-Овсеенко:

«Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население... Подлый предатель родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака ...

раздавлен и вбит, как черви, а землю, которую он опоганил...»

Затем воззвание членов военно-революционного совета:

«Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя *стаей черных воронов с засаленными рожами*... Проповедует о том, якобы большевики желают запречь в коммуну ... меж тем как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи Спаситель, восстал против богачей... Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать... *Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих*... Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян...» Подписано так: «Товарищи Дятко, Голубенко, Щаденко». – Это вроде того, как если бы я подписался: господин Бунин.

Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое.

Да, еще, – «из местной жизни»: «Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров».

Паника и отчаянные зверства. «Вся буржуазия берется на учет». Как это понимать?

* * *

Выходил на закате, встретил Розенталя, говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с

ним, зашел к Л. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом, уже в сумерках, на Дерибасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые крики солдат: «Товарищи, на другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи, пронеслись два верховых, а за ними с лаем собака... Дальше совсем не пускают.

Фома сообщил, что послезавтра будет «чистое светопредставление»: «День мирного восстания», грабеж всех буржуев поголовно.

30 апреля.

Ужасное утро! Пошел к Д., он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что «день мирного восстания» уже начался грабеж уже идет; боится, что отнимут вторую пару штанов.

Вышли вместе. По Дерибасовской несется отряд всадников, среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсянико-Куликовского. Говорит: «Душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят».

* * *

Три часа. Опять ходил в город: «день мирного восстания» внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, каменьями.

Ужасная гроза, град, ливень, отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота:

– Вот она, моя коммуна-то! Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваше иерусалимское благородие, она у меня под пузом висит...

1 мая.

Очень встревожены, и не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания «Чрезвычайного уполномоченного совета обороны Л. Каменева: Всем, всем, всем! Еще одно усилие и рабоче-крестьянская власть завоюет мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину...»

Приходил «комиссар» дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в «тыловое ополчение».

Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивается при каком-то «военном отделе» театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем, по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, щелканье орехов...

2 мая.

Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами.

Были Овсянико-Куликовский и писатель Кипен. Рассказывали подробности. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, – шла настоящая охота. Кипен спасся случайно, – ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. – «Есть тут жиды?» – спрашивают у сторожа. – «Нет, нету». –

«Побожись!» – Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше.

Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек.

* * *

Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, – черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка народа, одни возмущались «днем мирного восстания», другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, – опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, – как мало они видели, даже мои!

Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подземелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!»

3 мая.

Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки – и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни.

Резолюция полка имени какого-то Старостина:

«Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы!»

Арестован одесский комитет «Русского народно-государственного союза» (16 человек, среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, «ввиду явной активной действительности, угрожающей мирному спокойствию населения».

О спокойствии населения, видите ли, заботятся!

Были у Варшавских. Возвращались по темному городу; в улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов.

4 мая.

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах – стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке... Вот тебе и редактор, хозяин «Русских Ведомостей»! Со страстью говорил «*об ужасах царской цензуры*».

5 мая.

Видел себя во сне в море, бледно-молочной, голубой ночью, видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это?

Аншлаг «Голоса Красноармейца»:

«Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на *гнойниках* с коровами, гнули свои *спинушки* для дармоедов-лежебоков...»

Во дворе у нас женится *милиционер. Венчаться поехал в карете.* Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставать только тайком?

Статья Подвойского в киевских «Известиях»: «Если черным *шакалам*, *слетевшимся* в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции... Черная банда негодяев... Хищные когти румынского короля и помещиков...» Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место: «К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь – невежественной, антисемитской, безграмотной... Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права... Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение...»

А вот новое произведение Горького, его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие: «День великой лжи». Содержание:

«Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти.

Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь: человек должен питаться плотью и кровью ближнего.

И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны, кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи.

Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена и ее уже нельзя восстановить в старых формах.

Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени!

Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки...

Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято, как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы.

И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса.

Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать – русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задушить Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает – и исчезнет!»

А вот вырезка из горьковской «Новой Жизни» от 6 февраля прошлого года:

«Перед нами компания авантюристов, которые, ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!»

* * *

Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Ш. Туда приносят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати). Вчера в Бупе будто бы была шифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу, издал Универсал, которым признает советы, но такие, чтобы «те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов». Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.

Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками» и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад

поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, об его душе слова Ив. Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь!» Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастию, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные: для «борцов» и реалистической народнической литературы один, для прочих – другой, с некоей мистикой. И все «надевали лавровые венки на вшивые головы», по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

«Мы глубоко распались с существующим... Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами... Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны... Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно *не* распадаться с существующим. И «молодежь» и «вшивые головы» нужны были, как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!» И вывеска эта еще долго будет висеть – пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно:

За народ, народ, народ,
За святой девиз вперед!

Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно:

И утес великан
Все, что думал *Степан*,
Все тому смельчаку перескажет...

«Ведь что ж было? – говорит Достоевский. – Была самая невинная, милая либеральная болтовня... Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал.

«Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость... И вот они опять возникли в огромном размере... Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Это – из Соловьева, о Смутном времени. А вот из Костомарова, о Стеньке Разине:

«Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком... Были посулы, *привады, а уж возле них всегда капкан*... Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что... Шли «прелестные письма» Стеньки – «иду

на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство...». Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения... дышали местью и завистью... составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...»

Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого!

* * *

«Красноармейская Звезда»: «Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии, Вильсон, требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один человек, все мы пойдем доказать изумленному миру... Только лакеи душой останутся за *бортом нашего якоря спасения...»*

Радостные слухи – Николаев взят, Григорьев близко...

8 мая.

В «Одесском Коммунисте» целая поэма о Григорьеве:

Ночь. Устав, пан Гетман спит,
Спит и – видит «скверный» сон:
Перед ним с ружьем стоит
Пролетарий. Грозен он!
Жутко... Взгляд его горит,
И, немного погодя,
Пролетарий говорит,
В ужас «пана» приводя:

– Знай, изменник и подлец,
Руки вздумавший нагреть,
Желтый гетманский венец
Я не дам тебе надеть!

Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, что «крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции», мужик из-под Одессы, и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это «придут, сволочь, и заберут» он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской – человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую – там, на углу Преображенской, то же самое... В городе слухи: «Произошел переворот!» Просто тошнит от этой бесконечной брехни.

После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-а! – крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.

Вечер. И свету не смей зажигать и выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!

Из «Одесского Коммуниста»:

«Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнагления, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, *а именно*: пьяница Григорьев провозгласил лозунг: «Бей жидов,

спасай Украину», что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной Революции! А посему *мы постановили: послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям националистам*!»

И далее: «Обсудив вопрос о *заключенных белогвардейцах*, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, *проливают напрасно кровь*, которой и так много пролито, благодаря капиталистам и их *прихвостням*!»

Рядом с этим стихи:

Коммунист-рабочий
Знает, сила в чем:
В нем любовь к работе
Бьет живым ключом...
Он не знает наций,
Хлещет черных сук.
Для организаций
Отдает досуг!

6 мая.

Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, – в прошлом столетии, – молясь на икону Святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

– Митюшка, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи:

Где пришел еси, молитву сотворяй,
Без нее дверей не отворяй,
Аще не видишь в дверях ключа,
Воротись, друг мой, скорей, не стуча...

Куда девалось все это, что со всем этим сталось?

«Святейшее из званий», звание «человек», опозорено как никогда. Опозорен и русский человек, – и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось «ледяных походов»! Уж на что страшна старая русская летопись: беспрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая «хотя» власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым «для подъема поганых на свой же собственный отчий дом», рабские послания друг к другу («бью тебе челом до земли, верный холоп твой») с единственной целью одурачить, провести, злые и бесстыдные укоры от брата к брату... *и все-таки иные, совсем не нынешние слова*:

«Срам и позор тебе: хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!»

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, – и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

На гривастых конях на косматых,
На златых стременах, на разлатых,
Едут братья, меньшой и старшой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают – ан гроб да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленой,
Вот и сдвинул ее Святогор,

Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на Божий простор!»
Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву... Да нет, погоди!
«Ты мечом!» – слышен голос из гроба, –
Он за меч, – загорается злоба,
Занимается сердце в груди, –
Нет, и меч не берет! С виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит – там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Это писано мной в 16 году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая...

* * *

В газетах опять: «Смерть пьянице Григорьеву!» – и дальше гораздо серьезнее: *«Не время словам!* Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уж о самых элементарных завоеваниях Октября... Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей...»

Напечатан новый список расстрелянных – «*в порядке проведения в жизнь красного террора*» – и затем статейка:

«Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собрания, где раньше *ютилась свора генералов*, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний

концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кронкарди, *вызывая интерес и удовольствие* слушателей, подражал лаю собаки, *визгу цыпленка*, пению соловья и других животных, *вплоть до пресловутой свиньи*...»

«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих животных» – *которые*, оказывается, тоже все «вплоть» до свиньи *поют*, – этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья «пресловутая» и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»?

Конечно, вполне «заборная литература». Но ведь этим «забором», таким свинским и интернациональным, делается чуть не вся Россия, чуть не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом – ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей «новой» русской литературе. Ведь уже давно стали печататься – и не где-нибудь, а в «толстых» журналах – такие, например, вещи:

Уж все *цветы* в саду *поспели*...
Тот *лен*, из какого веревку сплели...
Иду и колосья *пшена* разбираю...
Вы об этой женщине *не тужьте*...
А в этот час не *хорошо везде ль*?
Царевну *не надо в покои пустить*...
Я б описал, но хватит слов ли?

Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

– Вы домой? – говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает:

– Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят?

Не понимает, не чует:

– А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядерного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то *младотурецких* подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные *сказания, сказки, «словеса золотые»* и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках», и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

– Как чем? Да ничем, ест, что попало: она *у меня собака съедобная.*

Все это всегда бывало и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь?

10 мая.

«*Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть*... С Колчаком *едет Михаил Романов* ... едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность... *несет еврейские погромы, водку*... Колчак поступил на службу к международным хищникам ... чтобы под хладнокровной, *раскормленной рукой Ллойд-Джорджа билась в судорогах истощенная страна*... Колчак ждет, когда *сумеет* пить кровь рабочих...»

Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров: «Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску ... мажут свою физиономию, но на физиономии, как они ни чистятся, все же есть кулацкие веснушки...»

Помимо крестьян, «засекаемых» Колчаком, страшно беспокоятся и о немцах: «Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы...»

Ходили на Гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше растравляю себе сердце.

И опять слухи – теперь уже о десяти транспортах с «*цветочными*» (то есть, говоря по-русски, цветными) войсками, будто бы идущими выручать нас.

О Подвойском, от человека, близко знающего его: «Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины...»

11 мая.

Призывы в чисто русском духе:

– Вперед, родные, *не считайте трупы!*

Из вестей о «разгроме» Григорьева можно убедиться только в одном – что григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия.

Вчера говорили, что в Одессу приехал «сам» Троцкий. Но, оказывается, он в Киеве. «Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины... Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, *когда разбит позвоночник буржуазной уверенности*, когда мы слышим в ее голосе трещину... Говорил к народу с балкона...»

Как раз читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Дзержинский... Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи.

Кутон, говорит Ленотр, Кутон-диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Аттила, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ, «страстный друг Народа и Добродетели», был, как известно, калека, колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор – и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног, – отнялись на всю жизнь.

* * *

Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины «окрылило прибытие вождя».

Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело большевиков распинать Христа,

который, будучи Спаситель, восстал на богачей»? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского Коммуниста»:

«Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что «истины» Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».

12 мая.

Опять флаги, шествия, опять праздник, – «день солидарности пролетариата с красной армией». Много пьяных солдат, матросов, босяков...

* * *

Мимо нас несут покойника (не большевика). «Блаженни, иже избрал и приял еси, Господи...» Истинно так. Блаженны мертвые.

* * *

Говорят, Троцкий таки приехал. «Встречали, как царя».

14 мая.

«Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы...» А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем:

«В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки

исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!»

И дальше:

«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев, – убитых свыше ста, магазины разграблены...»

«В Жмеринке идет еврейский погром, *как и был*, погром в Знаменке...»

Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции – слушайте, слушайте музыку революции!»

Ночь на 15 мая.

Пересматривал свой «портфель», изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18 годах.

Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов! И все наше время станет сказкою, легендой...

* * *

Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке русской революции». Хозяин избы размеренно рассказывает: «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, – я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чепи

держали, а уморить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: *в остроге, и то ухитрилась миллион нажить*! Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обешшает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

– У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

– А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь? Погоди, погоди, брат, – вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков – это Гучков.)

Сергей Климов, ни к селу ни к городу, прибавляет:

– Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно *разнообразие*...

Девки визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах...

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы ребята ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить...

Думаю: «Нет, большевики-то поумней будут господ Временного Правительства! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику».

* * *

На деревне возле избы сидит солдат дезертир, курит и напевает:

– Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит – как две минуты?

– А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

– Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

– А мне один черт – под немца, так под немца!

* * *

В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

– *Вириятно, эрунда*, барин?

Его приятель с упоением рассказывает свое «революционное» прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом – и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге было:

– Веселей всякой свадьбы и харчи отличные!

Он рассказывает:

– В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором – помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали...

Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный губернатор, третья лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал – и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном – и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался – нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обешшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал...

15 мая.

Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышут тяжкой злобой к «коммунии» и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в Ропите. Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога...

Шел через базар – вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги – и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков, Сами порой небось покатываются от хохота.

Из «Одесского Коммуниста»:

Зарежем штыками мы алчную гидру,
Тогда заживем веселей!
Если не так, то всплывут они скоро,
Оживут во мгновение ока,
Как паразит, начнет эта свора
Жить на счет нашего сока...

Грабят аптеки: все закрыты, «национализированы и учитываются». Не дай Бог захворать!

И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир Платона», поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами...

Вспомнил почему-то князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света – и вполне младенец, даже жутко.

Костюшко называли «защитником *всех* свобод». Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип.

16 мая.

Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помоги нам Господи!

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался – и больно, и грустно, и сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов...

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже вовеки не вернется... Вспомнил лесок Поганое, – глушь, березняк, трава и цветы по пояс, – и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России...

Николая Филипповича выгнали из его имения (под Одессой). Недавно стали его гнать и с его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился, – был день его Ангела, – потом к большевикам, насчет квартиры – и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет сто лет – и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими...

«Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве...» Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I.

Усмирение мюридов, Кази-Муллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, бородка редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну... Сколько бунтарей, вождей вот именно из таких!

17 мая.

Белыми, будто бы, взяты Псков, Полоцк, Двинск, Витебск... Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно... Что если правда?

Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести «центрокомдезертир».

21 мая.

В Одессу прибыл Иоффе, – «чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран... чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу...»

Насчет чего апеллировать?

Слышал об Иоффе:

– Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек, – паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе-Рабинович. Очень честолюбивый, – через каждые пять минут: «когда я был послом в Берлине...» Красавец, типичный знаменитый женский врач...

Рассказчик втайне восхищался.

23 мая.

В «Одесском Набате» просьба к знающим – сообщить об участи пропавших товарищей: Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика... Потом некролог какого-то Яшеньки:

«И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька... *как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки*... как зимний луч солнца... возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве...

Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!»

Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька – жертва «всемирного бича, венеризма».

* * *

На Дерибасовской новые картинки на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами – буржуя; подпись: «Ты давил нас *толстой пузой*»; огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; из-под короны течет полосами по щекам кровь... А коллегия при «Агитпросвете», – там

служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусства, – заседает, конструируется, кооптирует новых членов, – Осиповича, профессора Варнеке, – берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками...

24 мая.

Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца, мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши:

«В зале Пролеткульта грандиозный абитурбал. После спектакля призы: за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов, *губки и ножки целовать в закрытом киоске*, красный кабачок, *шалости электричества*, котильон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в шесть часов утра по старому времени. Хозяйка вечера – супруга командующего третьей советской армией, Клавдия Яковлевна Худякова».

Списал слово в слово. Воображаю эти «маленькие ножки», и что будут проделывать «товарищи», когда будет «шалить», то есть гаснуть электричество.

* * *

Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в «Южном Рабочем» (меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большевиков):

Испуган ты и с похвалой *сумбурной*
Согнулся вдруг холопски пред варягом...

Это по поводу моих стихов, напечатанных в «Одесском Листке» в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов.

Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над «испуганными интеллигентами», – точно решительно нет никаких причин пугаться, – или над «испуганными обывателями», точно у них есть какие-то великие преимущества перед «обывателями». Да и кто, собственно, эти обыватели, «благополучные мещане»? И о ком и о чем заботятся, вообще, революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?

* * *

Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, – сколько откроется темного, греховного, неправедного, какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!

25 мая.

«Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря III интернационала».

Чьи-то похороны с музыкой и знаменами: «За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев!»

26 мая.

«Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма пекаря Матьяша...»

Некрологи, статьи:

«Ушел еще один... Не стало Матьяша... Стойкий, сильный, светлый... У гроба – *знамена всех секций пекарей*... Гроб утопает в цветах... День и ночь у гроба почетный караул...»

Достоевский говорит:

«Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено...»

Теперь эти строки кажутся уже слабыми.

27 мая.

Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания, – шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, – приехавшего из Москвы, – не застали дома. И такой же тяжкий путь и назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели... И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит В. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случит-

ся, схватить камень поувесистей и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь!

Вернулись домой в три. Новости: «Уходят! Английский ультиматум – очистить город!»

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую «сами же мы внедряли в него сто лет». Потом Овсянико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, – бегут... Сообщение с Киевом совсем прервано... Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск...» Но кем взят? Этого никто не знает.

Выкурил чуть не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

Ночью.

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устроению человеческого счастия, «новой, прекрасной жизни». Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, – мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно «провоцировать» что-нибудь? Сделайте милость, – более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете... И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? – поистине сказочно-богатой и *со сказочной быстротой процветавшей*! – и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение – это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 мая.

Часто недосыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск «Известий»: «Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту... Чичерин протестует... Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была стрельба.

Домбровский – комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве «Театр Миниатюр». У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 мая.

Комендантом Одессы, вместо арестованного Домбровского, назначен студент Мизикевич. Затем: «В Румынии восстание... вся Турция охвачена революцией... *Революция в Индии* ширится...»

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища «приглашали» хозяйку взять билеты (по 75 руб. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж, кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакомого моряка):

«Завтра в двенадцать истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами». Глупо, но шел домой как пьяный.

31 мая.

«Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько *тысяч пленных* и *двенадцать* пулеметов... Энергично преследуется панически бегущий неприятель... Мы оставили Бердянск, Чертково, бьемся южнее Ца-

рицына». В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе – день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в «Одесском Коммунисте» статья: «Шапки долой!»

Десяток яиц стоит уже 35 руб., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят «бандиты». Взяты на учет кладбища. «Хорониться граждане отныне могут бесплатно». Часы переведены еще на час вперед – сейчас по моим десять утра, а «по-советски» половина второго дня.

Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, – «Одесса переусердствовала», – пожимает плечами, разводит руками, кое-что «смягчает»...

Статейка «Терновый венец»: «Поплыл по рабочим липкий и жестокий слух: «Матьяша убили!» Гневно сжимались мозолистые руки и уже *хрипло доносились крики*: «Око за око! Мстить!»»

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: «Не вынес кошмара обступившей его действительности... со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие... Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников...» *Оказалось кроме того – «легкое опьянение»*.

2 июня.

Сводка – заячьи следы. Одно проступает – успехи Деникина продолжаются.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была «роль» Богоматери «или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству». Спрашиваю: «Зовущее кого? Этих зверей?» – «Да, а что же? Вот

недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать – и плачет...» И крокодилы, говорю, плачут...

После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе – в Красном переулке, против театра «имени Свердлова» и над входом в театр. И опять этот страшный плакат – голова Государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

3 июня.

Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать – год! И сколько перемен и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

4 июня.

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В «Известиях» похабная статья: «Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?»

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

7 июня.

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его «национализирована», книги продаются только тем, у кого есть «мандаты». И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают, что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право... Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы «уклоняющихся».

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, *раструбы* их *штанов* чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, – того гляди застрелит. Поминутно видишь – два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были у пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация – все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» – дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

– А Перемышль генералы за десять тысяч продали, – говорит один: – я это дело хорошо знаю, сам там был.

***

Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России.

9 июня.

В газетах все то же – «*Деникин хочет взять в свои лапы очаг*» – и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать «позорный» мир. Естественно было бы крикнуть: «Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое.

Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть.

В Харькове «приняты чрезвычайные меры» – против чего? – и все эти меры сводятся к одному – к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков, – как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещание прощения красноармейцам) и глумятся над ней: «В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача».

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой.

Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией.

* * *

Одно из древнейших дикарских верований:

«Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей...»

Теперь это звучит не так уж архаично.

«Мечом, своим будешь жить ты, Исав!»

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав *совершенный подлец* перед прежним.

И еще одна библейская строка:

«Честь унизится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные сборища... *И лицо поколения будет собачье...*»

И еще одна, всем известная:

«Вкусите – и станете как боги...»

Не раз вкушали – и все напрасно.

«Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи *к животному самоудовлетворению*... Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления!»

Удивительней всего то, что эти слова, – столь оправдавшиеся на Наполеоне, – принадлежат певцу «Колокола».

А сам Наполеон сказал:

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода!»

* * *

Ленотр о Кутоне:

– Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если *не лечился на водах*, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент-Онорэ. «Эта квартира, писал он в октябре 1791 года, мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента), и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменилось, кроме того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон-Неф. В 1794 году он

наконец основался опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), *в котором жил и Робеспьер*. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя *носить* в Конвент. Но как, на чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр, – и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, «в снисходительности». Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, «при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь».

– Когда мы явились к Кутону, – рассказывает провинциал, – я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерной кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. «Чем могу быть полезен? – спросил меня Кутон. – Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не по-

винным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?» И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон – к шнурку звонка, висевшего над его креслом. Еще минута – и я был бы схвачен теми шестью «агентами охраны», которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа...

Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в Конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1889 года в Карнавалэ явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавалэ, было распаковано – «и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет». Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами.

Кутон был полутруп. «Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой». Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. «Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции – всё в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир». И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя,

сажать в кресло, «чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: «Сторонись!» – а толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя!»

* * *

«Стихийность» революции:

В меньшевистской газете «Южный Рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:

– Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще несуществующего совета!

* * *

Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был, между прочим, Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной кор-

ректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

– Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались – ну, извините, слишком исключительными, что ли...

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе – и мы, «доверием и державной волей народы облеченные», закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное, уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть...

* * *

Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

– Эх, распошел,
Ты, мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване.

10 июня.

Журналисты из «Русского Слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в «Бупе» вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут!»

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве «проведение в жизнь красного террора» продолжается; убито, между прочим, еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было «экстренное» – всегда «экстренное»! – заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул:

«Довольно, надоело! Хлеба!» – «Ах, вот как! – завопил Фельдман. – Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил: – «Я крикнул!» – и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил «употреблять буржуев вместо лошадей, для перевозки тяжестей». Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

* * *

Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой, – «граждане» с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь – все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей:

– Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

* * *

Передают нагло-скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким:

– Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской Мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он «учится» боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем.

* * *

Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий *сфинктер*; почти сплошь золотые зубы; на цыплячьем теле – гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи, на тонких, как у скелета, ногах – развратнейшие

пузыри-галифе и щегольские, тысячные сапоги, на кострецe – смехотворно громадный браунинг.

* * *

В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар – студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов – первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

* * *

Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

– Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

– Двадцатого! Я *вам* раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут – втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни», то «бей жидов».

Впрочем, весьма возможно, что опять, опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму.

Да, да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить.

* * *

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходилось доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за *Мартель.*

* * *

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

– Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

– Скушно.

– Что такое?

– Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

– Да почему же?

– Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит, «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать – до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, – очень пьяный, – и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

– А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

– Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

– А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

– А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

– Он мне, собака, керосину в лавке коперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. – Погоди, погоди, – обращается он к караульщику, – и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу – дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

– Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной

мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

– Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

– Да, известно орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем *кандрак* составлять, будем *осуждать*, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будет у нас должон теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся – драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованием в этой думе!

– Да то-то и дело, – говорю я, – что жалованье-то хорошее.

– Ну? Хорошее?

– Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

– Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

– Ну вот, кому же, как не тебе и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более:

– Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и именья-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, – какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

– Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысяча номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр, хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и *опять мы с ним одного сукна с онучей*. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого,

говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся и *пролезть он там может куда угодно*...

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах «насилуют свободу слова». Кусаться можно кинуться.

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

– Ну, и чудна ты, старуха! Ну, и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей глупой головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

– Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

– Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча. Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

– Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его *штуки* жалеет...

Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

– Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! За то и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет...

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

– Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

– Сорок не сорок, а правда, везут.

– И кормить их будем?

– А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

– Что? Да порезать да покласть...

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов – «*обывательщина*». Даже Гегеля вспомнил: «Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции».

Да, да, «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных «обывательских» вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» – и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

11 июня.

Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший... Да, впрочем, не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

«Мы оставили Богучар... Мы в 120 верстах западнее Царицына... *Палач* Колчак идет на соединение с Деникиным...»

И вдруг:

«*Угнетатель рабочих* Гришин-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и *душегуб* Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин-Алмазов застрелился».

Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск...

Четыре часа.

Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков!

Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист:

– Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

– А как же и когда оно, по-твоему, кончится?

– Когда! Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские». А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет: «Два часа с половиной». – «Как, мать твою душу, как два с половиной, когда теперь по-нашему, по-советски, пять? Значит, ты старого режиму?» – Вырвет часы и об мостовую трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет: одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит, – все мол, наплевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступало.

* * *

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» – бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, – сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей *антисоциальностью*, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской *социальной* революции. Что ж дивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но

совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта – жажда разрушения, *антисоциальность*.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает и любимое ее чтение – страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся – начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие – и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, – послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» – как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая *долголетняя* борьба.

* * *

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик:

«Всем, всем, всем!» – крик о том, что Корнилов – «мятежник, предатель революции и родины...»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали – победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, – видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и

дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

– Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел – и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: «Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...»

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были за-

топлены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями...

13 июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уж истинно: «Ратуйте, хто в Бога вируе!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

15 июня.

Газеты особенно неистовы: «Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута – и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен... Пусть же гудит набат! *Не время калякать!»*

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 июня.

«Харьков пал под *лавиной* царского палача Деникина... Он двинул на Харьков орду золотопогонных и *озверелых от пьянства гуннов*. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство...»

Собственно, чем это отличается от *всей* нашей революционной «литературы»? Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове...

А «ликвидация григорьевских банд» все еще «продолжается».

17 июня.

На Дерибасовской улице новый плакат: лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза-генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца; подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа «Политуправления». И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который *равнодушно* сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой, как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40 000 человек).

Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове – все болезненно умиляло.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?!»

18 июня

«Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче!» – и так далее.

В Киеве доклад *Раковского* о международном положении:

«Революция охватила весь мир... Хищники дерутся из-за добычи... Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови!» И дальше: «Позор! В Харькове *четыре* деникинца произвели неописуемую панику среди наших *многочисленных эшелонов!»* И как венец всего: «*Падение Курска будет гибелью мировой революции*!»

* * *

Только что был на базаре. Бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты: «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!» – Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

19 июня.

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щ. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: «Бюллетень

Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм. депутатов. Красные войска *отобрали* обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 18 июня, в 1 ч. 35 м. из Киева радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских *банд*, которые *в панике* бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм...» Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. «Энтузиазм в Полтаве» должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до одной: «Циркулировавшие слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются...» От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, – ну что ж, «слухи пока не подтверждаются», и прекрасно...

20 июня.

«На западе бушуют волны революции... Деникин несет цепи голодного рабства... С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный, бесчеловечный террор... Беззащитный пролетариат отдан *озверелым бандам* на разграбление... *Надо* беспощадно *раздавить* мозолистой рукой контрреволюционные *гады* на фронте и в тылу... Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников... Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!»

Все это, вместе с «мозолистой рукой», долженствующей «раздавить *гады»*, уже не из газет, а из воззвания «Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики».

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей.

«Мы оставили Константиноград... Харьков занят *бродячей бандой... Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов...* Мы оставили Корочу... Мы оставили Лиски... *Противник оттеснил нас западнее Царицына...* Мы гоним Колчака, *который в панике...* Румынское правительство мечется в предсмертной агонии... В Германии разгар революции... *В Дании* революция принимает угрожающие размеры... Северная Россия питается овсом, мхом... У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья... На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории...»

В «Известиях» стихи:

Товарищи, кольцо сомкнулось уже!
Кто верен нам, беритесь за оружье!
Дом горит, дом горит!
Братец, весь *в огне дом*,
Брось *горшок с обедом*!
До жранья ль, товарищ?
Гибнет кров родимый!
Эй, набат, гуди, мой!

А насчет «горшка с обедом» дело плохо. У нас по крайней мере от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят...

Сейчас опять идем в архиерейский сад, часто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, – вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке... И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

* * *

P. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

Оглавление

Иван Алексеевич Бунин

Окаянные дни

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16